

Михаил Салтыков-Щедрин

Господа ташкентцы



Книги очерков

Михаил Салтыков-Щедрин

Господа ташкентцы

«Public Domain»

1873

Салтыков-Щедрин М. Е.

Господа ташкентцы / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1873 — (Книги очерков)

Одна из наиболее известных книг Салтыкова-Щедрина – «Господа ташкентцы» – возникла на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века и, как всегда у этого писателя, была нерасторжимо связана с тогдашней русской действительностью. За спадом в середине 60-х годов волны крестьянской революции Салтыков увидел не только «вставшую из гроба николаевщину», не только свору крепостников, пытавшихся залечить нанесенную им реформой 19 февраля 1861 года (при всем ее урезанном характере) рану, но и вступивший на арену истории российский капитализм

Содержание

ОТ АВТОРА	5
ВВЕДЕНИЕ	6
ЧТО ТАКОЕ «ТАШКЕНТЦЫ»?	16
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Господа ташкентцы

Картины нравов

ОТ АВТОРА

Исследование о «Ташкентцах» распадается на две части: «Ташкентом приготовительного класса» и «Ташкентцы в действии». Настоящим томом оканчивается первая часть, составляющая сама по себе отдельное целое. Я отнюдь не имею претензии утверждать, что в представляемых здесь вниманию читателя параллелях исчерпывается все, что могло бы подойти под эту рубрику, но ежели бы я пошел еще далее в воспроизведении различных типов «ташкентства», то работе моей, пожалуй, не было бы конца. Притом же в намерениях моих было написать ежели не роман в собственном значении этого слова, то более или менее законченную картину нравов, в которой читатель мог бы видеть как источники «ташкентства», так и выражение этого явления в действительности. Поэтому первую часть я посвящаю биографическим подробностям героев ташкентства, а во второй – на сцену явится самое «ташкентское дело», в создании которого примут участие действующие лица первой части. Ввиду этого я нашел, что привлечение слишком большого количества элементов, хотя и однородных по своим целям, но крайне разнообразных в своих проявлениях, могло бы загромоздить мой труд множеством лиц, связь между которыми, быть может, представилась бы читателю не вполне ясною. Тем не менее я сознаю, что отсутствие некоторых типов (как, например, ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляет пропуск очень заметный. Но я постараюсь познакомить читателя с этими типами во второй части, выводя их постепенно, в роли эпизодических лиц.

ВВЕДЕНИЕ

В рассказах Глинки (композитора) занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник, без приготовлений, «необыкновенно ясно и дельно» изложил перед Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором «Торквато Тассо» столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник отвечал: «Прикажут – завтра же буду акушером».

Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказания». Ежели мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут – и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут – и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут мания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все на чеку, все готово устремиться куда глаза глядят.

По-видимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести в обществе суматоху и толкотню. Однако ж ничего подобного не усматривается. Везде порядки, везде твердое сознание, что толкаться не велено. Но прикажите – и мы изумим мир дерзостными поступками.

Уверенность в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает человеку букет «свежести». «Свежесть», в свою очередь, дает талантливости характер неудержимой и ни перед чем не останавливающейся похотливости. Человек, постоянно готовый и постоянно вожделеющий, – это своего рода нерушимая стена. Это развязный малый, перед которым всякая специальность немедленно сдается на капитуляцию. Назовите рядом с «свежим» человеком какого-нибудь «умника», – и всякий сразу поймет, сколько горечи и презрения слышится в этом последнем названии. «Умник!» – ведь это засоренная голова! Это человек, изнемогающий под бременем собственного бессилия!

Это опасный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!

А мы именно хотим только созидать, и потому блюдем нашу «свежесть» паче зеницы ока. Мы твердо помним, что от нас ожидается какое-то «новое слово», а для того, чтоб оно сказалось, мы не полагаем никаких других условий, кроме чистоты сердца и не вполне поврежденного ума. Это условие потому хорошо, что оно общедоступно, а сверх того, благодаря ему все профессии делаются безразличными. Человек, видевший в шкафу свод законов, считает себя юристом; человек, изучивший форму кредитных билетов, называет себя финансистом; человек, усмотревший нагую женщину, изъявляет желание быть акушером. Все это люди, не обремененные знаниями, которые в «свежести» почерпнут решимость для исполнения каких угодно приказаний, а в практике отыщут и средства для их осуществления.

Практика – это тоже своего рода божество, которое выведет их из умственного оцепенения и даст смысл их невнятного бормотанию. Там, в этой насыщенной азбучными испарениями атмосфере, среди недомолвок, справок, противоречий и колебаний, они, кроха по крохе, соберут себе сокровище гораздо более прочное, нежели то, которое могла бы дать наука. Там, на боках Петров и Иванов, юрист уяснит себе понятие о мере наказаний; там финансист воочию убедится, что кредитные билеты сами хорошо знают карманы, в которых им быть надлежит.

И не утратят они при этом ни единой капли «свежести», ибо при конце профессионального поприща пребудут столь же свободны от наук, как и при начале оно.

И надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда вера в силу прирожденной талантливости действительно делала чудеса. Приходил человек совершенно свежий и начинал орудовать. Писал законы, устанавливал порядки, и даже доводил «вверенную» часть до идеального совершенства. Не только подчиненные, но люди совсем посторонние – и те говорили: «Да, этот человек не то что Х. или Z. Этот человек – _подтянет!_» Где тайна этого волшебства? Очевидно, ее следует искать или в неизреченной наглости «свежих людей», или же в том, что самые «вверенные» части столь уже просты, что расступаются даже перед людьми, совсем не поврежденными науками.

Первое предположение, очевидно, не выдерживает никакой критики. Наглость, выступающая вперед только по приказанию, – вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объяснением для жизненных явлений. Гораздо правильнее остановиться на простоте «вверенных частей», тем больше что здесь приходит к нам на помощь и практика со своими истинно поразительными подтверждениями.

Один знатный иностранец, посещавший Россию во времена Петра Великого (предоставляю любителям отечественной старины догадаться, кто этот путешественник), рассказывает следующее: «Несмотря на совершенные сим государем преобразования, процесс, посредством коего управляется здешний народ, столь прост, что не требует со стороны администратора ни высокого ума, ни познаний. Я, по крайней мере, лично знал одного наместника, который был да такой степени простодушен, что однажды, по недоразумению, откусил свой собственный палец, но и за всем тем оказывался вполне удовлетворительным для выполнения тех задач, которые ему предстояли. Каждый день перед ним клали известную порцию бумаг, и ежели эта порция случайно уменьшалась, то он примесно начинал беспокоиться, упрекал подчиненных в нерадении и требовал усугубления рвения. С течением времени он до того вошел в свою роль, что сделался даже прихотливым. Заметил, что ему подают только коротенькие бумаги, и стал требовать длинных; потом и сим не удовлетворился, но велел сочинить статистику, которую, по изготовлении, подписал и отправил. Таким образом, с помощью одного очень простого приема, называемого по-здешнему _подтягиванием_, этот плохой и даже глупый человек прожил несколько лет и умер в звании наместника естественною смертью».

Поверить этому рассказу очень возможно. Всякий из нас знал на своем веку и неутомимых статистиков, и пребодрых финансистов, которые ничего не имели за душою, кроме чистого сердца и не вполне поврежденного ума, – и за всем тем действовали. Каким образом могли действовать эти чистосердечные люди? Каким образом могло случиться, что только естественная смерть освобождала их от тягостей лежавшего на них бремени? Что означает этот факт?

По моему мнению, он может означать одно: простоту задач. Очень долгое время область профессий представляла у нас сферу совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тени. Х. взывал об удовлетворении, но в глазах людей профессии он не существовал как живое лицо, а существовало лишь «дело об Х., ищущем удовлетворения». Z. томился в тюрьме, но и он как живое лицо был неизвестен, а известно было только «дело об Z., томящемся в тюрьме». Речь шла не об действительной участи людей, а о решении уравнений с одним или несколькими неизвестными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состояния теней, то они и сами начинают сознавать себя тенью, и в этом качестве делают вполне равнодушны к тому, какие решаются об них уравнения и какие пишутся статистики. Вот тут-то и настигают их «свежие» люди. Сначала они совестятся и довольствуются только простыми уравнениями; потом делают дерзкими и начинают требовать статистик. Какие плоды приносит их подтягивательная деятельность – они не знают, да и знать, по правде, не нужно, потому что, наверное, она никаких плодов не принесет. «Все равно, братцы, помирать!» – говорят люди, и действительно начинают помирать, как будто и невесть какое мудрое дело делают.

И что всего удивительнее, эта «свежесть» допускалась не только в области деятельности спекулятивной, но и в области ремесл, где, по-видимому, прежде всего требуется если не искусство, то навык. И тут люди, по приказанию, делались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему делались? – а потому, очевидно, что требовались только _простые_ сапоги, _простое_ платье, _простая_ музыка, то есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов: приказания и готовности. Кукольник знал, что говорил, когда вызывался хоть сейчас быть акушером. Он понимал, что тут предстоит акушерство самое упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько выражение готовности.

Таким образом оказывается, что, как ни велика наша талантливость, все-таки она может считаться действительною лишь до тех пор, пока существует беспредметность профессий или, говоря другими словами, покуда можно все сапоги шить на одну ногу. Как скоро давалыцы начнут требовать сапогов, шитых по мерке, никакие приказания не помогут нашей готовности. Еще Петр Великий изволил приказать нам быть европейцами, а мы только в недавнее время попытались примерить на себя заправское европейское платье, да и тут все раздумываем: не рано ли? да впору ли будет? – Как хотите, а горше этой формулы самоуничтожения даже выдумать трудно.

От чего же мы отбояриваемся? что защищаем? Очевидно, мы защищаем то выморочное пространство, которое после приказания Петра Великого: быть всем россиянам европейцами, – так и осталось ненаполненным. Нет у нас ничего, кроме пресловутой талантливости, то есть пустого места, на котором могут произрастать и пшеница и чертополох. Но именно это-то пустое место и дорого нам. Раскольники, современные Петру, – и те лучше были, ибо говорили: мы хотим пахнуть по-своему. Мы же ничего не говорим, а просто-напросто с пустом в пусто лезем. И выходит, что мы тоже пахнем, только пахнем нежилым местом.

И вот, недалеко от нас глухая стена. Сапожник начинает смутно понимать, что сколько есть на свете ног, столько же должно быть и сапогов; администратор, судья, финансист догадываются, что сзади их профессий есть нечто, что движется и заявляет о своей конкретности, что требует, чтоб к нему, а не его примеривали. В хаосе безразличия, в котором еще так недавно витал некоторый сам себе довлеющий дух, начинают выясняться отдельные образы, которые с изумлением смотрят на стену, воздвигнутую вековою русскою готовностью. И вспоминается им многострадальная история этой готовности. Вспоминается, как они, бия себя в перси, на целый мир возглашали: мы люди серые, привычные! нас хоть на куски режь, хоть огнем пали, мы на все готовы! Вспоминается, как они суетились, разоряли, громили, жгли – и все это без ненависти, без злобы, даже без мысли, единственно ради похотливого желания доказать, сколь талантлив может быть человек, когда знает, что его за эту талантливость не подвергнут телесному наказанию. «Многое мы совершили, многое претерпели, – говорят они, – а в результате все-таки стена – и ничего более!»

Эта стена, однако ж, не с неба свалилась и не из земли выросла. Мы имели свою интеллигенцию, но она заявляла лишь о готовности следовать приказаниям. Мы имели так называемую меньшую братию, но и она тоже заявляла о готовности следовать приказаниям. Никто не предвидел, что наступит момент, когда каждому придется жить за собственный счет. И когда этот момент наступил, никто не верит глазам своим; всякий ощупывает себя словно с перепоя и, не находя ничего в запасе, кроме талантливости, кричит: «Измена! бунт!»

Есть три способа избавиться от глухой стены. Первый заключается в том, чтобы признать прихотливыми все требования жизни, которые почему-нибудь нам не по нутру. Это задача очень трудная (едва ли можно отыскать человека, который дал бы уверить себя, что ощущаемые им потребности прихотливы), но если б даже мы решились поддерживать ее, то и тут необходимо прежде всего понимать, в чем заключаются приводящие в затруднение потребности, откуда они пришли и почему могут быть сочтены прихотливыми. Одним словом, необходимы ум и знание. Другой способ (тоже не весьма надежный) заключается в том, чтоб уверить

общество, что положение у глухой стены есть самое выгодное для него положение. Этот тезис еще труднее, но и его защитить не невозможно, если есть знание объекта беседы и подготовленность к принятию возражений. Опять-таки знание и ум. Наконец, третий способ представляется в откровенном признании законности вновь народившихся потребностей и в приискании для них правильного исхода. Этот способ самый надежный, но тут уже просто-напросто требуется ума палата.

Какой бы из этих трех путей ни был избран, во всяком случае, талантливость играет здесь роль далеко не первостепенную. Ни предложить что-нибудь прочное, ни даже помочь обмануть – ничего она собственно силою не может. Везде на первом плане требуется знание, пример, навык. Они одни могут дать содержание талантливости, и в некоторых случаях даже обуздать ее стремительность. Человек, который на одной талантливости созидает здание своего будущего благополучия, – это человек, у которого есть пламенное сердце, но в этом сердце нет ничего, кроме погадки готовности. С этой погадкой ему предстоит одно из двух: или удивить мир продерзостью, или наполнить вселенную зловонием. По-видимому, это очень большой риск. Но мы убедимся, что тут даже риска никакого нет, если примем в соображение, что сневежничать, во всяком случае, легче, нежели совершить подвиг. А талантливость именно тем и отличается, что всегда имеет в виду дела самые блестящие, то есть самые легкие. Божку съесть, вавилонскую башню проектировать – вот задачи, которые ей льстят, на которые она обращает всю свою похотливость. И посмотрите, с какою легкостью выступают эти люди вперед! Как они заранее трубят о победе, как клянутся голыми руками потушить пылающий костер!

И чем больше предвкушение торжества, тем больше малодушия, ненависти и подозрительности при первом неуспехе. Эта последняя черта очень опасна, потому что почва бунтов и измены, на которую вступает потерпевшая неудачу талантливость, есть единственная, доступная ее уровню. Ни измена, ни бунты, по нашему извечному обычаю, не требуют определений. Оба эти слова для каждого ясны сами по себе, то есть ясны именно в том смысле, какой тот или другой талантливый субъект желает им сообщить. С произнесением краткого и в то же время совершенно неопределенного звука приобретается и исходный пункт, и материал для наполнения всей последующей карьеры. Затем уже следуют обуздания...

А что же, кроме обузданий, произвела на свет наша талантливость за все время ее векового и притом вполне беспрепятственного существования?

* * *

Представьте себе такой случай: директор департамента призывает к себе столоначальника и говорит ему: «Любезный друг! я желал бы, чтоб вы открыли Америку».

Я не берусь утверждать, чтоб столоначальник осмелился возразить, но он все-таки поймет, что открытие Америки совсем не его ума дело. Поэтому, всего вероятнее, он поступит так: разошлет во все места запросы, и затем постарается кончить это дело измором.

Но пускай тот же директор тому же столоначальнику скажет: «Любезный друг! я желал бы, чтоб вы всех этих Колумбов привели к одному знаменателю!»

Вы не успеете оглянуться, как Колумбы подлинно будут обузданы, а Америка так и останется неоткрытою.

Митрофаны не изменились. Как и во времена Фонвизина, они не хотят знать арифметики, потому что приход и расход сосчитает за них приказчик; они презирают географию, потому что кучер доведет их куда будет приказано; они небрегут историей, потому что старая нянька всякие истории на сон грядущий расскажет. Одно право они упорно отстаивают – это право обуздывать, право свободно простирать руками вперед.

Митрофан на все способен, потому что на все готов.

Он специалист по части гражданского судопроизводства, потому что занимал деньги и не отдавал оных.

Он специалист по части уголовного судопроизводства, потому что давал затрещины и получал оные.

Он специалист по части администрации, потому что знает такие ругательства, которые могут в одно мгновение опалить человека.

Он специалист по части финансов, потому что все трактиры были свидетелями его финансовых операций.

Он медик, потому что страдал секретными болезнями.

Он акушер, потому что видал нагих женщин.

Все профессии он изучил на своих собственных боках с такой основательностью, что даже получил название «выжиги». «Выжига» – это совсем не ругательный, а, скорее, деловой термин, означающий мужа совета. «Уж коли этакая „выжига“ не поможет, – говорят вам, укаывая на X. или Z., – то дело твое пропащее». Вы обращаетесь к «выжиге», и, к изумлению вашему, он действительно помогает вам. Это до того удивительно, что вам непременно приходит на мысль, что и этот «выжига», и средства, которые он употребляет, и ваше дело, и вы сами – все это, взятое вместе, не стоит ломаного гроша. Все это какой-то безобразный мираж, способный поселить в душе не то отчаяние, не то презрение ко всему: к жизни, к себе самому...

Дайте «выжиге» рубль серебра, он заложит душу черту; дайте пять рублей – он сам делается чертом. Ему и это сделать легко, потому что он один в целом мире знает, где найти черта и что у него просить.

Это ходячий кошмар, который прокрадывается во все закоулки жизни и умеет до такой степени прочно внедриться всюду, что, несмотря на свою беззбучность, успевает сделаться необходимым человеком и подлинным мужем совета.

И все благодаря лишь тому, что простота задач продолжает привлекать все сердца.

Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания. Наши так называемые консерваторы суть расточители по преимуществу. Вселенная кажется им наполненною скоровоспламеняющимися элементами, состоящими из козней, крамол и измены. Со всем этим надо, конечно, покончить. Но к кому же обратиться? Кто возьмет на себя трудное обязательство сражаться против козней неkozнедействующих и крамол некрамольствующих? Кто, кроме Митрофана, этого вечно талантливового и вечно готового человека, для которого не существует даже объекта движения и исполнительности, а существует только самое движение и самая исполнительность? Налетел, нагрянул, ушиб – а что ушиб? – он даже не интересуется и узнавать об этом...

Времена усложняются. С каждым годом борьба с жизнью делается труднее для эмпириков и невежд. Но Митрофаны не унывают. Они продолжают думать, что карьера их только что началась и что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, которое им еще долго придется наполнять своими подвигами. Каким образом могли зародиться все эти смелые надежды? где их отправный пункт? Увы! уследить за этим не только трудно, но даже совсем невозможно.

Митрофан плохой теоретик; он не любит ни анализировать, ни обобщать и упорнее всего отворачивается от самого себя. Если б вчерашний день был в свежей памяти, он, быть может, стоял бы укором или, по малой мере, поучением. Но так как вчерашнего дня нет, так как последовавшая за ним ночь принесла за собой хмельное забвение всего прошлого, то нет места ни для поучений, ни для укоров. Представьте себе пропойца, который встает с постели с разбитым лицом, с угнетенною винными парами головой, весь подавленный чувством тупого самоотсутствия, которое не дает ему возможности не только что-нибудь ощущать, но просто даже разо-

брать, где он и кто он. Если б этот человек мог помнить, если б он мог ясно представить себе все подробности безобразий прошедшего дня, быть может, тут произошла бы потрясающая драма. Но так как он ничего не помнит, ничего себе не представляет, то чувствует только одно: гнетущую потребность опохмелиться. Удовлетворивши этой потребности, он снова возвращается к вчерашнему дню, но не для того, чтоб анализировать, а для того, чтоб воспроизвести его с буквальной точностью. В этой безнадежной картине заключается единственно возможное объяснение всего Митрофанова существования.

Для Митрофана не существует ни опыта, ни предания, ни возможности делать какие-либо умозаключения, потому что всякая настоящая минута его жизни без остатка вытесняется следующей минутой. Его наглость не есть наглость, легкомыслие не есть легкомыслие. Это сейчас родившийся, и притом совершенно порожний, человек, об которого, как о каменную скалу, разбивается принцип вменяемости. Его действия можно было бы сравнить с проявлением стихийной силы, но даже и это сравнение оказывается неуместным, потому что задача стихии – бессознательное разрушение рядом с бессознательным творчеством, а задача Митрофана – одно бессознательное разрушение! Вот почему до сих пор не существует ни одной сколько-нибудь ясной теории митрофанства, которая могла бы оправдать его существование и указать на перспективы, ожидающие это явление в будущем.

В XVIII веке Митрофан впервые выступил на дорогу деятельности во всем блеске своей талантливости. В эту достопамятную эпоху со всех сторон сыпались на него стрелы просвещения, и он с какою-то ребяческой отвагой подставлял им свое рыхлое тело. Но в действительности он облюбовал только одну из них, а именно ту, которая называется табелью о рангах, и в ней замкнул весь смысл своего существования. Все, что стояло рядом с этой табелью, все математики, химии, механики, фортификации и проч., о насаждении которых, с жезлом в руках, хлопотал Петр Великий, – все это только внешним образом окатило Митрофана, оставив в его теле лишь легкий озноб. Но табель о рангах внедрилась, вошла в плоть и кровь. С этой табелью в руках, хмельной от приливов талантливости, он рыскал по долам и горам, внося в самые глухие закоулки смелую проповедь о чинопачении и заражая самые убогие хижинки своею просветительною деятельностью. Перед немеркнущим блеском табели о рангах тускло, почти презренно светились прочие вопросы жизни, то есть все то, что составляет действительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всех сторон безнадежнейшим эмпиризмом; источники воочию иссякали под игом расточительности и хищничества; стихии бесконтрольно господствовали над трудом и жизнью человека, а Митрофан ничего не замечал, ни перед чем не останавливался и упорно отстаивал убеждение, что табель о рангах даст все: и славу, и богатство, и решительный голос в деле устройства судеб человечества.

Только долуторавековой искус мог пошатнуть это убеждение и возбудить сомнение насчет живородящих свойств табели о рангах. Но так как это была единственная форма западно-европейской жизни, которая не только привилась, но даже значительно усовершенствовалась, и так как с нею отождествилась идея о просвещении, то весьма естественно, что сомнение в ее доброкачественности распространилось огулом и на все прочие результаты, выработанные цивилизацией Запада. Мнения, что Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой, что западная наука поражена бесплодием, что общественные и политические формы Запада представляют бесконечную цепь лжей, в которой одна ложь исчезает, чтоб дать место другой, – вот мнения, наиболее любезные Митрофану. И все потому только, что он смешивал цивилизацию с табелью о рангах. Благодаря гг. Бартеневу и Семевскому, он знает немало анекдотов из истории просветительной деятельности XVIII века и, заручившись ими, считает себя уже совершенно свободным от церемонных отношений к цивилизации вообще. Заговорите с Митрофаном о каких угодно открытиях или порядках, которых польза ясна и несомненна даже для неразвитого человека, – он оскалит зубы и, вместо опровержения, ушибет вас таким анекдотом из «Русского архива», что вам сделается неловко.

Напрасно вы будете доказывать, что просветительная деятельность, на которую он ссылается, не есть просветительная деятельность, а пародия на нее; что он же, Митрофан, должен быть обвинен в том, что из всех плодов западной цивилизации успел вкусить только от самого гнилого и притом давно брошенного под стол, – он ответит на ваши доказательства другим анекдотом, еще более пахучим, и будет действовать таким образом до тех пор, пока вы не убедитесь в совершенном бессилии каких бы то ни было доказательств перед силою анекдота и уподобления.

Но ежели нет ясных фактов (нельзя же принимать за факт одну голую готовность), на основании которых можно было бы создать теорию митрофанства, то есть упования и прозрения. Известно, что ничто так не окриляет фантазию, как отсутствие фактов. Нет фактов, – значит, есть пустое пространство, не ограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидениями. Поэтому, как только Митрофан вступает на почву упований, он делается смел до дерзости, необуздан до самозабвения. Он говорит, – и с восхищением слушает самого себя; и чем больше говорит, тем больше чувствует потребность говорить, – говорить без конца. И всегда для своих разговоров выберет тезис самый неожиданный и самый блестящий: либо пятую стихию, либо новое слово. «Будет носить чужое заношенное белье, скажет он, – пора произнести и свое собственное, новое слово». И, конечно, надежду на произнесение этого нового слова возложит на самого себя.

Что носить чужое заношенное белье не лестно – это истина для всех непререкаемая. Но Митрофан упускает из вида, что он носил это заношенное белье добровольно, не замечая, что оно давно уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно досталось ему с барского плеча. Цивилизованные народы всегда имеют полный комплект белья, и потому меняют его так часто, что обладателю рубища это может показаться даже прихотью. Стало быть, в том нет ничего удивительного, что рядом с чистым бельем имеется порядочная куча и заношенного; скорее же удивительно то душевное настроение, которое заставляет останавливаться именно на заношенном белье предпочтительно перед чистым. Кто ж виноват в существовании такого настроения?

Тайна этой переимчивости задним числом опять-таки объясняется слишком большою талантливостью Митрофана. Ему некогда следить за быстро сменяющимися явлениями жизни, потому что он, уловивши одну какую-нибудь крупницу, уже не может отвязаться от нее, не натешившись всласть, не выжавши из нее сока, не доведя факта до абсурда. Из фрака он сделает мундир и напишет целый трактат о ношении его, из бритья бороды он создаст себе кумир и будет носиться с этим кумиром до изнеможения. Восприимчивость угнетает его и нередко даже делает опасным утопистом и беспардоннейшим регламентатором. Покуда он носится с своим «живым вопросом» и старается внедрить его в себя на веки вечные, живой вопрос давно уже оказывается сданным в архив и замененным другими, более подходящими вопросами. Что в результате такой упорной восприимчивости может быть только глухая стена – это очевидно; но Митрофан слишком самолюбив, чтобы обвинить себя в таком неудачном результате. «Сколько лет мы носим фраки, сколько крови из-за одной бороды пролито, а все толку нет!» – говорит он и принимает твердое намерение навсегда отвернуться от затей разлагающегося Запада, которые, на его взгляд, до того уже тощи, что и натешиться-то ими вдоволь нельзя.

Никто, конечно, не спорит, что политические и общественные формы, выработанные Западной Европой, далеко не совершенны. Но здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук, в чаянии, что счастье само свалится когда-нибудь с неба. Митрофан же смотрит на это дело совершенно иначе. Заявляя о неудовлетворительности упомянутых форм, и в особенности напирая на то, что у нас они (являясь в виде заношенного чужого белья) всегда претерпевали полнейшее фиаско, он в то же время завиняет и самый процесс творчества, называет его бесплодным метанием из угла в угол, анархией, бунтом. По обыкнове-

нию, больше всего достается тут Франции, которая, как известно, выдумала две вещи: ширину взглядов и канкан. Из того числа: канкан принят Митрофаном с благодарностью, а от ширины взглядов он отплеивается и доднесь со всею страстностью своей восприимчивой натуры.

Увы! Митрофан не знает, как трудно положение человека, который обязывается жить своим умом. Нет у последнего ничего готового, кроме того, что он приготовил своими собственными руками и до чего додумался силою собственной мыслительной способности. У него, конечно, имеется в запасе большое подспорье – наука, которую он сам же выдумал и вывел в люди, но наука еще не настолько полна, чтоб отвечать на все запросы жизни. Желания человека опережают науку, и вот он делает все новые и новые попытки, впадает в заблуждения, поправляет себя и опять заблуждается. Все это обходится очень дорого, но человек, живущий своим умом, не может устранить опытов, достигающихся даже дорогою ценой. Он знает, во-первых, что в ширине его запросов заключается залог непрерывающегося развития жизни, да, сверх того, не может отказаться от попыток уже и потому, что одна удовлетворенная потребность рождает в нем другую, которая тоже требует удовлетворения. Поэтому, быть может, он копошится несколько более, нежели тот солидный человек, который знает, что кучер наверное привезет его туда, куда приказано; и не столь мудр, как тот мудрец, который стоит, уставясь глазами в стену, и твердо уповает, что стена сама собой расступится перед ним. Часто нам случается слышать, как говорят: «Вот дрянные людишки! что ни человек то мнение, что ни вопрос – то спор!» Но это только издали кажется, что эти людишки дрянные; в сущности, это люди, живущие своим умом и понимающие всю трудность подобного положения. Простим их, ибо они все-таки более самих себя беспокоят, нежели нас.

Митрофан с особенным удовольствием останавливается на политических и общественных формах, потому что видит их внешнюю изменчивость и от этого признака приходит к заключению о негодности самого процесса создания этих форм. По его мнению, каприз и чудачество обуревают вселенную; люди не по необходимости меняют старые формы общежития на новые, а потому только, что так вздумалось. То внутреннее содержание, от которого зависит то или другое устройство обществ, те открытия и изобретения человеческого ума, которые так резко определяют характер того или другого периода истории человечества, совершенно закрыты для него. Однако же это пропуск очень важный.

Историческая наука недаром отделила последние четыре столетия и существенным признаком этого отграничения признала великие изобретения и открытия XV века. Здесь проявления усилий человеческой мысли дали жизни человечества совсем иное содержание и раз навсегда доказали, что общественные и политические формы имеют только кажущуюся самостоятельность, что они делаются шире и растяжимее по мере того, как пополняется и усложняется материал, составляющий их содержание.

Митрофан ничего этого не знает и не хочет знать. Он живет в век открытий и изобретений и думает, что между ними и тою или другою формою жизни нет ничего общего. В его глазах передвигаются центры человеческой индустрии, в его глазах материальные и умственные богатства перемещаются из одних рук в другие, а он продолжает думать, что все это не более как случайность и спешит заткнуть ту или другую дыру и сделать некоторые ничтожные поправки в обветшавшем здании табели о рангах. Да, – только в табели о рангах, ибо как ни глумится над ней Митрофан под веселую руку, а она все-таки и доднесь составляет единственный обрывок цивилизации, действительно дорогой его сердцу.

И вот таким-то образом проводится время в ожидании «нового слова» и открытия пятой стихии. Самонадеянность и хвастовство растут, а житье наступает трудное, трудное даже для Митрофанов. Нелепостно перенимают они всякую новую штуку, но так как эта штука является независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в лоб. Мир открытий и изобретений, в глазах Митрофанов, есть мир подробностей, существующий *an sich und fur sich* в себе и для себя. и не имеющий внутренней связи с общим строем жизни. Понятно,

какое должно выйти столпотворение, сколько заплат, пятен и брызгов грязи должно быть на той ризе, которую сооружает себе Митрофан и к которой он каждый день прибавляет по новой заплате, по новому грязному пятну.

Но, кроме путаницы, Митрофану угрожает еще другая беда: отчаяние. Он может очутиться в положении раскольника, с часу на час ожидающего антихриста. Если антихрист в виду, если через минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать, ни сеять, ни собирать в житницы, а нужно заботиться только о саване и гробе. Подобно сему, если каждое новое открытие или усовершенствование приводит лишь к тому, что бьет в лоб, и ежели при этом нет даже поползновения определить причину такого странного действия открытий и усовершенствований, то остается одно из двух: или закутаться в саван, или обратиться в дикое состояние.

И за всем тем нас ждет еще «новое слово»... но, боже мой! сколько же есть прекрасных и вполне испытанных старых слов, которых мы даже не пытались произнести, как уже хвастливо выступаем вперед с чем-то новым, которое мы, однако ж, не можем даже определить! Есть ли расчет предпочесть неизвестное известному? и честно ли, наконец, угрожать вселенной «новым словом», когда нам самим небезызвестно, что материал для этого «нового слова» состоит исключительно из «кратких начатков» да из первых четырех правил арифметики?

* * *

Где ж элементы будущего? вот вопрос.

В течение последних пятнадцати лет у нас выступило вперед многое, о чем никому и не снилось до того времени. На недостаток приказаний мы пожаловаться не можем, ибо ими наполнены все страницы нашей новейшей истории, – каким же образом отвечала на них наша талантливость?

Всюду, куда мы ни обратимся, встречаем один ответ: погодите! еще время не ушло!

У нас есть сословие адвокатов... погодите! еще время не ушло!

У нас есть гласный и устный суд... погодите! еще время не ушло!

У нас есть земские деятели... погодите! еще время не ушло!

У нас есть опыты крестьянского самоуправления... погодите! еще время не ушло!

– Погодите! не торопитесь! куда спешить! – в один голос вопиют все Митрофаны, и вопиют так громко, что посторонний человек останавливается в каком-то странном недоумении. С одной стороны, судя по непрерывности предостерегающих криков, ему кажется, что в сей пространной веси происходит либеральное столпотворение; с другой стороны, он видит, ясно видит, что вся поспешность здесь заключается в том, чтобы не спешить.

А этим временем, помаленьку да потихоньку, адвокаты превращаются в «аблакатов», а земские деятели – в устроителей пикников, закусок и обедов.

Подготовки нет, а ремесленность уже проникает всюду. Ремесленность самого низшего сорта, ремесленность, ничего иного не вожделеющая, кроме гроша. Надул, сосводничал, получил грош, из оного копейку пропил, другую спрятал – в этом весь интерес настоящего. Когда грошей накопится достаточно, можно будет задрать ноги на стол и начать пить без просыпу: в этом весь идеал будущего.

И с таким-то запасом, с такими-то идеалами Митрофан сбирается в дальний путь и надеется сказать свое новое слово. В ожидании же минуты, когда «слово» созреет, он не на шутку мечтает быть просветителем.

Просветительная миссия – это идеал Митрофана, это провиденциальное его назначение. С штофом в руке, с непреодолимым аппетитом в желудке, он мечется из угла в угол, обещая все привести к одному знаменателю (к какому – он сам того не знает) и забывая, что прежде всего ему необходимо себя самого привести к знаменателю просвещения...

Молчание – вот единственный ясный результат, который покуда выработала наша так называемая талантливость. Затем, в ожидании того таинственного «нового слова», которому предстоит обновить мир, все-таки остается во всей своей неприкосновенности очень серьезный вопрос:

Где ж элементы будущего?

ЧТО ТАКОЕ «ТАШКЕНТЦЫ»?

«Ташкентцы» – имя собирательное.

Те, которые думают, что это только люди, желающие воспользоваться прогонными деньгами в Ташкент, ошибаются самым грубым образом.

«Ташкентец» – это просветитель. Просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим, ибо наука, по мнению его, создана не для распространения, а для стеснения просвещения. Человек науки прежде всего требует азбуки, потом складов, четырех правил арифметики, таблички умножения и т. д. «Ташкентец» во всем этом видит неуместную придирку и прямо говорит, что останавливаться на подобных мелочах значит спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Он создал особенный род просветительной деятельности – просвещения безазбучного, которое не обогащает просвещаемого знаниями, не дает ему более удобных общежительных форм, а только снабжает известным запахом. Тот, кто пьет херес *tres vieux* очень старый., считает себя просветителем относительно того, кто пьет херес просто *vieux*; старый. тот, кто пьет херес *vieux*, считается просветителем всех, пьющих настойку и водку. Разумеется, это только пример; но я привожу его для того, чтобы дать читателю понятие о градации. Градацию эту он может перенести во всякую другую сферу (например, в сравнительную сферу сюртуков и поддевок, ресторанов и харчевен, кокоток, имеющих ложу в бельэтаже, и кокоток, безнадежно пристающих к прохожему в Большой Мещанской, и т. п.), лишь бы она кончалась человеком, «который ест лебеду». Это тот самый человек, на котором окончательно обрушивается ташкентство всевозможных родов и видов.

Но и здесь не следует понимать буквально, что «человек, питающийся лебедою», должен непременно наполнять свой желудок этим суррогатом. «Лебеда», как и «голод», суть выражения фигуральные, дающие место для великого множества представлений. Есть лебеда натуральная, которая слывет в мире под названием подспорья и от которой, во всяком случае, хоть живот у человека пучит; и есть лебеда абстрактная, которая даже подспорьем ничему не служит. Человек, который питается этою последнею лебедою, есть именно тот человек, которого голоду нет пределов. Он со всех сторон открыт для действия, и именно для действия безазбучного. Он не может дать отпора, потому что у него самого нет единственного орудия, с помощью которого можно отражать безазбучное просветительство – нет азбуки. Каким образом ее не оказывается налицо – от рождения ли он не имел ее или утратил вследствие разных исторических обстоятельств, – дело не в том; во всяком случае, он стоит со всех сторон открытый, и любому охочему человеку нет никакой трудности приложить к нему какие угодно просветительные задачи.

Однажды я собственными ушами слышал следующий разговор:

– Дайте срок! – говорил некто, – вот там-то (имярек) должны произойти на днях серьезные замешательства – без нас дело не обойдется!

– Шагу без нас не сделают! – ораторствовал другой, – только зевать в этом деле не следует, не то как раз перебьют дорогу!

Я полюбопытствовал взглянуть: мимо меня проходили не люди, а нечто вроде горилл, способных раздробить зубами дуло ружья. У каждого из них, наверное, восприимницей была управа благочиния, – не та, которая имеет местопребывание на Садовой улице, а та, которая издревле подстерегает рождение охочего русского человека и тотчас же принимает его в свои недра, чтоб не выпустить оттуда никогда.

В другой раз я слышал другой разговор:

– Слышали? нигилисты-то!.. ведь это, батюшка, клад!

– Клад-то клад; только зевать в этом деле не нужно, а следует раз-раз-раз... вашему превосходительству имею честь явиться!

Я взглянул: передо мною были те же гориллы. В третий раз:

– Взял и ухватил! Потому, сударь, что в этом деле главное – ухватить! Даже ума не требуется! Кому следует вручил, с кого следует получил! Ухватил – и баста!

– Ухватить-то ухватил; только зевать тоже не следует, потому что нашего брата нонче ой-ой как расплодилось!

Опять гориллы...

Чего хотели эти человекообразные? чему они радовались? С чем, с какими орудиями они приступали к действию? Вот эти-то вопросы и следует предлагать себе всякий раз, когда присутствуешь при подобного рода рассуждениях и разговорах. Если этих вопросов не будет, вся соль рассуждений утратится, а вместе с тем утратится и смысл общего течения жизни. Очень часто мы проходим, слышим, смотрим, и нимало не вдумываемся в то, мимо чего проходим, что слышим, на что смотрим. В большей части случаев конкретность поражает наши чувства скорее машинально, нежели сознательно, и вследствие этого явления, по малой мере сомнительные, кажутся обыкновенными, чуть не доблестными. Обнажим их от покровов обыденности, дадим место сомнениям, поставим в упор вопрос: кто вы такие? откуда? – и мы можем заранее сказать себе, что наше сердце замрет от ужаса при виде праха, который поднимется от одного сознательного прикосновения к ним...

Вопрошать всегда следует, хотя бы проходящее перед нашими глазами явление представлялось обыденным или даже совсем посторонним. Говорят, что излишние вопросы прибавляют излишнюю горечь в жизни, что отсутствие вопросов предохраняет от состояния бессменного страха, в котором очутился бы человек, если б он всегда видел вещи в их действительном, беспокровном виде. Это правда; но правда и то, что ведь вслед за страхом сама собою приходит и охота освободиться от него, а это уже выигрыш несомненный. Поэтому следует раз навсегда сказать себе, что в мире общественных отношений нет ничего обыденного, а тем менее постороннего. Все нас касается, касается не косвенно, а прямо, и только тогда мы успеем покорить свои страхи, когда уловим интимный тон жизни или, иначе, когда мы вполне усвоим себе обычай вопрошать все без изъятия явления, которые она производит.

Чего хотели упомянутые выше люди? – этот вопрос разрешается одним словом:

Жрать!!

Жрать что бы то ни было, ценою чего бы то ни было!

Жгучая мысль об еде не дает покоя безазбучным; она день и ночь грызет их существование. Как добыть еду? – в этом весь вопрос. К счастью, есть штука, называемая безазбучным просвещением, которая ничего не требует, кроме цепких рук и хорошо развитых инстинктов плотоядности, – вот в эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своих здоровых зубов...

Отрицать чье бы то ни было право на еду невозможно. Но нужно сознаться, что иногда это право разрастается до таких размеров, за которыми уже следует опасность. Дело в том, что безазбучный ташкентец требует еды не только некупленной, но и непрерывно возобновляющейся; он никогда не довольствуется одним куском, но, проглатывая этот кусок, уже усматривает другой. Чем больше он ест, тем больше он голоден, и это объясняется тем естественнее, что он даже утратил привычку утолять свой голод порядочным образом. Он не ест, а закусывает, хватая урывками, на лету; вот почему непрерывное его закусыванье не бросается в глаза. Еда падает словно в пропасть. Закусывая и перехватывая, ташкентец неприметно истребляет целые массы всякого рода туш, и, к удивлению, это нимало не утучняет его. В том-то и заключается ужас, который возбуждает этот человек, что он никогда не скажет: я сыт!

Если нам не кажутся странными некоторые радости, если мы не останавливаемся в оцепенении перед некоторыми надеждами, то это потому только, что мы не даем себе труда анализировать их внутреннее содержание. А между тем в этих случаях чье-то счастье всегда основано

на чем-то несчастьи, чья-то надежда всегда равносильна чьему-то отчаянью. Сомнение здесь тем более непростительно, что достаточно самого поверхностного обзора подобных личностей, чтобы почувствовать себя беспокойно. Одни идут медленно, глядят угрюмо и строго, шевелят челюстями, скрипят зубами, как будто говорят: дай срок! перекушу я тебе когда-нибудь горло! Другие виляют, поражают своею юркостью и самым наивным образом изыскивают способы снять с вас сюртук, а в случае надобности и лишить вас мимоходом жизни. Смотрите внимательнее – и, наверное, вы сделаете такие открытия, которые непременно принесут пользу. От вас не ускользнут ни судорожные подергиванья рук, ни блудящие огоньки, которыми, по временам, искрятся мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; одним словом, ничего из того, что вы до сей минуты считали мелочью. Этого достаточно будет, чтоб обогатить ваш ум познаниями и раскрыть сущность явления, дотоле загадочного. Вы приучитесь наблюдать за собою, вы не дадите подкупить себя простодушною обыденностью. В вашу душу проникнет страх, но повторяю: это здоровый страх, потому что он приводит за собой решимость во что бы ни стало освободиться от него.

Нет ничего опаснее обыденности, именно потому, что она примелькивается нашему взору. Мотается перед нами дрянной человечешко, и мы не спрашиваем даже себя: кого-то он оборвал? Кого-то заживо освежевал? Кого-то проглотил? Мы ждем, чтоб нам объявили об этом с церемонией, то есть чтоб тут был и приговор суда, и эшафот, и заплочный мастер. Только тогда, на месте казни, всматриваясь в эту несытую фигуру, мы говорим себе: «Каков! а я еще вчера видел, как он шнырил по улицам!» Но даже и это не всегда вразумляет нас, ибо, сказавши себе такое назидание, мы тут же опять вступаем на торную дорогу, опять завязываем себе глаза, и не расстаемся с нашей повязкой до тех пор, покуда новая церемония с эшафотом и заплочным мастером насильно не сорвет ее.

Понять известное явление значит уже обобщить его, значит осуществить его для себя не в одной какой-нибудь частности, а в целом ряде таковых, хотя бы они, на поверхностный взгляд, имели между собой мало общего. Понять же явление вредное, порочное – значит наполовину предостеречь себя от него. Вот почему я прошу читателя убедиться, что название «ташкентцы» отнюдь не следует принимать в буквальном смысле. О! если б все ташкентцы нашли себе убежище в Ташкенте! Мы могли бы сказать тогда: «Ташкент есть страна, населенная вышедшими из России, за ненадобностью, ташкентцами». Но теперь разве мы можем по совести утверждать это? разве мы можем указать наверное, где начинаются границы нашего Ташкента и где они кончаются? не живут ли господа ташкентцы посреди нас? не рыскают ли стадами по весям и градам нашим?

И ведь никто-то, никто не признает их за ташкентцев, а все видят лишь добродушных малых, которым до смерти хочется есть...

Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии. Это классическая страна баранов, которые замечательны тем, что к стрижке ласковы и после оголения вновь обрастают с изумительной быстротой. Кто будет их стричь – к этому вопросу они, повидимому, равнодушны, ибо знают, что стрижка есть, нечто неизбежное в их жизни. Как только они завидят, что вдали грядет человек стриженный и бреющий, то подгибают под себя ноги и ждут...

Как термин отвлеченный, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где быют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем. Если вы находитесь в городе, о котором в статистических таблицах сказано: жителей столько-то, приходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, богоугодных заведений нет, острог один и т. д., – вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента. Наверное, вы найдете тут и просветителей и просвещаемых, услышите крики: «ай! ай!», свидетельствующие о том, что корни учения горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классического, в поте лица

снискивающего свою лебеду, человека, около которого, вечно его облюбовывая, похаживает вечно несытый, но вечно жрущий ташкентец. Но училищ и библиотек все-таки не найдете.

Наш Ташкент, о котором мы ведем здесь речь, находится там, где дерутся и бьют.

Вчера я был в театре, в самом аристократическом из всех – в итальянской опере – и вдруг увидел ташкентца, и что всего удивительнее ташкентца-француза (оказалось, что это был генерал Флери). Скулы его были развиты необычайно, нос орлиный, зубы стиснуты, глаза искали. Что-то безнадежное сказывалось в этой сухой и мускулистой фигуре, как будто там, внутри, все давно застыло и умерло. Разумеется, кроме чувства плотоядности. Я инстинктивно обратился к моему соседу и с волнением, как будто хотел его предостеречь, сказал:

– Посмотрите, какой ташкентец!

Сосед с удивлением взглянул сначала на меня, потом в ту сторону, в которую я указывал; затем начал всматриваться-всматриваться и наконец пожал мне руку, как будто в самом деле я избавил его от беды.

Из этого я заключил, что, кроме тех границ, которых невозможно определить, Ташкент существует еще и за границу (каламбур плохой, но пускай он останется, благо понятен).

Переходя от одного умозаключения к другому, я пришел к догадке, что даже такие формы, которые, по-видимому, свидетельствуют о присутствии цивилизации, не всегда могут служить ручательством, что Ташкент изгиб. Ташкент удобно мирится с железными дорогами, с устностью, гласностью, одним словом, со всеми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится так называемая цивилизация. Прибавьте только к этим выгодам самое маленькое слово: фюить! – и вы получите такой Ташкент, лучше которого желать не надо.

Истинный Ташкент устраивает свою храмину в нравах и в сердце человека. Всякий, кто видит в семейном очаге своего ближнего не огражденное место, а арену для веселонравных похождения, есть ташкентец; всякий, кто в физиономии своего ближнего видит не образ божий, а ток, на котором может во всякое время молотить кулаками, есть ташкентец; всякий, кто, не стеснясь, швыряет своим ближним, как неодушевленную вещь, кто видит в нем лишь материал, на котором можно удовлетворять всевозможным проказливым движениям, есть ташкентец. Человек, рассуждающий, что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, существующее для того, чтоб на нем можно было плевать во все стороны, есть ташкентец...

Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования. Это в особенности чувствуется в эпохи, которые условлено называть переходными. Может быть, именно чувствуется потому, что в подобные минуты рядом с Ташкентом уже зарождается нечто похожее на гражданственность, нечто напоминающее человеку на возможность располагать своими движениями... потихоньку, милостивые государи! потихоньку! Может быть, это «нечто зарождающееся», «нечто намекающее» и делает особенно нестерпимую боль при виде все-таки прямо стоящего Ташкента? Действительно, все это очень возможно; но что же кому за дело до этого! Разве объяснения утешают кого-нибудь? разве они умаляют хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже в самые глухие, печальные исторические эпохи нельзя себе представить такого количества людей отчаявшихся, людей, махнувших рукою, сколько их видится в эпохи переходные. И рядом с этими отчаявшимися сколько людей, все позабывших, все в себе умертвивших... все, кроме бесконечного аппетита!

Я, конечно, был бы очень рад, если б мог, начиная этот ряд характеристик, сказать: читатель! смотри, вот издыхающий Ташкент! но, увы! я не имею в запасе даже этого утешения! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкент, который умирает, но в то же время знаю, что есть и Ташкент, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентов, поистине, пугает меня. Везде шаткость, везде сюрприз. Я вижу людей, работающих в пользу идей несомненно

скверных и опасных и сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: «пади! задавлю!» Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднить дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить. Мне скажут на это: всему причиной Ташкент древний, Ташкент установившийся и окрепший. Пожалуй, я и на это согласен. Что Ташкент порождает Ташкент – в этом нет ничего невероятного, но ведь это только доказывает, что и пессимисты, усматривающие в будущем достаточно длинный ряд Ташкентов, тоже не совсем неправы в своей безнадежности. Утешительного в этом объяснении немного.

Этот порочный круг не может не огорчать. Когда видишь такое общественное положение, в котором один Ташкент упраздняется только по милости возникновения другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и делается вещуном чего-то недоброго. Говорят: новый Ташкент необходим только для того, чтобы стереть следы старого; как скоро он выполнит эту задачу, то перестанет быть Ташкентом. На это я могу ответить только: да, это рассуждение очень ободрительное; но и за всем тем я ни на йоту не усилю моего легковерия, и не надену узды на мои сомнения. Всюду, куда я ни обращаю мои взоры, я вижу: с одной стороны, упорствующую безазбучность; с другой увеличивающийся аппетит и возрастающую затейливость требований для удовлетворения его. Ничто так не прихотливо, как Ташкент, твердо решившийся не выходить из безазбучности и в то же время уже порастлившийся тонкою примесью цивилизации. Пирог, начиненный устностью и гласностью, – помилуйте! да это такое объеденье, что век его ешь – и век сыт не будешь! Тут-то и лестно размахнуться, когда размах сопровождается какими-то пикантными видимостями, как будто препятствующими, а в сущности едва ли не споспешествующими. Ведь и из опыта известно, что нарезное ружье стреляет дальше, нежели ружье, у которого дуло имеет внутренность гладкую...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.